

АХ, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с масляными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплыми тополевым запахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов и прелесть улыбающихся, нежных губ, и яркие, острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки.

Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древневеселые: трам, трам, тра ля ля. И все смеялись. Смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех, на чужое веселое празднество.

ЕЕ звали Инна. Это потом, по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла вовсе не женские, а, наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что по моей молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в будущем я никак уже не гоюсь в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. Что же мне было делать? Не лезть же с объяснениями или напильственно втираться в дом, где оказался лишним.

Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попасть в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секунду увидеть ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня, — я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, союзные, разлетистые брови с пушком на переносице. Тогда мне стыдно стало, что я ее преследую вопреки ее желанию, и я перестал.

Однако каждый раз на великую заутреню я, в память наших прошлых паш, приходил в ее любимую церковь: Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне,

что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения.

Да! Еще издали-издали я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее пасхальных поцелуйчик? Хотя мнилось мне порою, что какая-

самой Десятинной церкви. Но, в первых, Христос воскрес.

Я едва успел снять шляпу. Она трижды истово поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладдила руками мою щеку.

— Сядем, — сказала она. — У меня времени совсем чуть-чуть. И так боюсь, что дома уже беспокоятся. А

А. КУПРИН

И Н Н А

Рассказ бездомного человека

Неизвестный советскому читателю рассказ «Инна» написал А. И. Куприн в 1928 году. Как и во всех почти произведениях Куприна эмигрантского периода, в нем нашли отражение воспоминания о покинутой родине. «Ну, что же я могу с собой поделать, — писал в эти годы Куприн, — если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а перевершая жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не перемняемая истрепленная фильма».

то складка жалости трогала ее розовые уста.

Так и в эту святую ночь, выждав время, стал я на Десятинной паперти, подождал и дождался.

Встретились мы с ней глазами... Испугался я вдруг, и как-то сам себе стал противен со своей наволивостью. Повернулся и пошел, куда глаза глядят.

Взобрался я, помню, по длинной плитной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого и очень крутого обрыва на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным дедам газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине-белела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких, глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожавших переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

Вдруг я услышал торопливые и легкие шаги. Обернулся — вижу идет стройная женщина. Ну, думаю, должно быть, любовное свидание, надо уходить — и поднялся со скамейки.

И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала обдавалось кипятком, а потом запырало. Инна!

— Постойте! Куда вы? — говорит она и немного задыхается. — Как вы скоро шагаете, а за вами бегу от

я хочу вам очень много сказать! Судите меня, но и простите.

И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происходила на свете.

В ту самую пору, когда я еще был вхож в Иннин дом, где меня как будто бы охотно терпели, существовал у меня дружок, самый закадычный — Федя. Мы даже долго жили в одной комнате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива — все пополам. Никаких секретов друг от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорыстна и внимательно дружба, а кроме того, друг — он же и наперсник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с этим Федей я делился всеми милыми, сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры; очаровательные, многозначительные лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки; совершенно детские невинные записочки о дне пикника в Борщаговке или Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде. И вдруг Федя съезжает внезапно из наших меблирашек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз... Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полуслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их, как ненужные клочки, в мусор; я даже в мусоре рылся, но напрасно.

И вот вдруг Инна получает письмо не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подписи же внизу, чернилами, безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто от не-

чего делать, шутя, подделывал мои факсимиле.

Текст письма был самый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами и над всей ее семьей. Но подпись, подпись была совершенно моя. А, кроме того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые, при всей их детской чистоте и невинности, были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней.

Зачем он это сделал — понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспричинную пакость.

В ту пору мне и показали на дверь. Кого я мог тогда винить? Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия, сначала в Одессе, а потом, недавно, в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины записочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно: профессиональные преступники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего рода болезнь, вроде мании величия. Следователь, друг семьи, извлек из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном материале нашлось достаточно данных, чтобы заключить Федьку на три года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимном письме, подписанном моим именем.

Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сгорбившись на скамейке, а она участливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу, я же целовал ее руки.

— А вот теперь, — продолжала она, — я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но три года, целых три года обиды, огорчения и недоверия испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, никогда я в жизни не забуду того, как вы были мне верны, несмотря на незаслуженное вами страдание. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом и сестрой.

Мы поцеловались еще раз.

— Не трудитесь провожать меня, — сказала она, — и помните: во всяком горе, нужде, несчастье, болезни мы самые близкие родные.

Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мной.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА